

ВЛ. ГНЕУШЕВ

И р а к л и й Д а в и д о в и ч

ОЧЕРК

Я познакомился с ним несколько лет назад в Теберде, куда приехал, чтобы написать очерк о врачах-фтизиатрах, о тех врачах, которые борются с одной из самых грозных болезней — туберкулезом. Помню, после первой беседы с хирургом я решил писать именно о хирургии, о наиболее радикальной области лечения, особенно в начальной и в последней стадии заболевания — так просто и мягко, что ли, рассказывал он о своей работе.

В горах трудно говорить: «В Теберде была весна». Этого не скажешь, потому что физически ощущаешь любое время года не рядом с собой, как бывает на равнине, а вокруг себя и как бы выше там, среди красноватых стволов сосен, и еще выше, где бурые скалы создают резкие рельефные линии, движения которых никогда нельзя определить геометрической логикой и которые, тем не менее, необыкновенно логичны и совершенны. Там рождаются могучие, невидимые глазу струйные потоки чистейшего воздуха, которые неслышно текут вниз, сквозь пахучие фильтры сосновых вершин и, достигнув низины, наполняют ее до краев той удивительной свежестью, от которой и пожилые люди начинают улыбаться как бы без причины — что уж говорить о молодых!

Извиваясь под блистающим солнцем, бежит голубовато-белая река, от которой тянет запахом озона и снежных вершин. Эти вершины видны из любой точки долины, которая, начинаясь узкой щелью, к северу все расширяется, открывая по сторонам обширные альпийские луга, усеянные цветами, а



потом снова сужается и снова раздается вширь, пока, наконец, горы не кончатся неожиданно и не открывается перед тобой степной простор.

Такова долина Теберды, и я не стану описывать ее красоты, потому что известное не нуждается в рекомендациях. Мне не хочется говорить, а хочется только вспоминать пустынную осеннюю дорогу в Джамагатском ущелье, поднимающуюся легкими уступами все выше, сквозь сухие и тихие леса, и покатые луга с привядшей травой, уходящие к речке, и осыпающиеся плоды диких яблонь, странно напоминающие каждый раз гигантский лунный диск на земле, и свежий запах сыроватой прели там, где дорога сворачивает через последний мостик и где лес особенно густо сплетается над ней. Мне хочется вспоминать грустноватую покинутость Джамагатской хижины с накрепко прибитыми матрацами на нарах внутри, с заколоченными крест-накрест дверьми, с синевой неба над желтыми скатами гор, с нарзанами, бьющими, как гейзеры, и с пронзительной надписью, нацарапанной химическим карандашом на пожарном щите: «Что знаем мы о себе?..»

И еще хочется вспоминать мне холодноватое мерцание Бадукских озер, или розоватые с фиолетинкой цветы кипрея на склонах и вершине обзорной горы, у которой и названия-то нет, или острые скалы Шайтан-баши, где застала

однажды ночь и где с пугающей легкостью метнулась тень тура на твердой и почти отвесной каменной стене, уходящей в рассветное небо.

Это все Теберда, и мне хотелось многое еще вспомнить, но я возвращаюсь к спокойному, невысокому человеку с глуховатым голосом, с большими, немного грустными глазами на узком интеллигентном лице. В ту осень мы часто встречались и много беседовали. Он рассказывал разные смешные истории — о петухе, например, по имени Михо, при котором, пока он был жив, невозможно было войти во двор никому постороннему без риска потерять свое достоинство и почтенность, ибо кто же сохранит достоинство и почтенность во время позорного отступления, переходящего в бегство? Или о скитальце-бульдоге, который дружил с тысячами туристов, ходил с ними по всем маршрутам и так изучил их, что вполне мог заменить инструктора, что и делал иногда.

Если мы ходили по улицам, то разговаривать было невозможно, потому что на каждом шагу его останавливали и здоровались и начинали иногда короткие, а чаще долгие беседы о положении дел в том или ином санатории — Ираклий Давидович в то время был главным врачом Тебердинского курорта. Меня интересовала его жизнь, но о своей жизни рассказывал он мало и скупно, чаще отшучиваясь или говоря:

— Ты вот с Мишей Лагодинским поговори — молодой, способный хирург и красноречивее меня...

Но Миша Лагодинский, действительно и молодой и очень способный хирург, либо смеялся, когда я вызывал его на разговор, либо приглашал послушать новые магнитофонные записи. Однажды, когда я ему особенно надоел, он сказал:

— Почему бы тебе не побывать на операции? Поговори с Ираклием, он разрешит, и ты увидишь всю нашу работу...

Все врачи на курорте между собой называли главного просто Ираклием, вкладывая в такое обращение, как я убедился, особую степень уважения и

доверия.

Простейшая мысль, подсказанная Лагодинским, увлекла меня, и я вскоре обратился с такой просьбой к Топурия. Выслушав, он помолчал, а потом спросил:

— Ты вообще бывал когда-нибудь на операциях?

— Даже на своей собственной, — с гордостью, немного смешной, сказал я.

— Это не совсем одно и то же, — задумчиво проговорил Ираклий, но потом решил:

— Хорошо. Во вторник. В двенадцать дня...

...Все же мне удалось кое-что узнать о нем. Родился в Киеве, в 1923 году, в семье врача-венеролога. В школу начал ходить и окончил ее уже в Батуми, куда семья переехала в 1928. Поступил в Тбилисский медицинский институт, закончил его в сорок пятом. Отец, как и все уважающие свою профессию отцы, хотел, чтобы сын стал венерологом, но сын тянулся к хирургии: тогда, в-конце войны, эта специальность была не просто почетной, но и весьма актуальной. Пожалуй, для многих в институте было неожиданностью, когда способный студент, имевший возможность избрать специальность, не связанную ни с риском, ни с хлопотами, заявил перед выпуском, что его волнует проблема туберкулеза. После некоторых раздумий, возникших в результате выбора профессии, дипломант Топурия был направлен в Москву, на специализацию, в институт усовершенствования врачей по борьбе с туберкулезом.

Ему повезло, потому что в ординатуру попал он под руководство профессора Алексея Николаевича Розанова, известнейшего и уважаемого хирурга. Но, как это порой свойственно людям в молодости, Топурия не сразу стал прилежным учеником. Ранняя теплая осень в Москве, бульвары, проспекты, парки этого города, театры, кафе и желание «лечь попозже и встать попозже», как сказал об этом Ираклий Давидович, на некоторое время ошеломили его, и он сам

не заметил, как занятиям начал уделять несколько меньше внимания, чем того требовалось и как хотелось его руководителю. Так продолжалось до поры, пока не вызвал его к себе Алексей Николаевич. Было это утром. В просторном, белоснежном кабинете шефа сеялся мелкий солнечный свет, тускло переливаясь на столь же белоснежном халате строгого и усталого человека.

— О том, что вы не совсем прилежны, молодой человек, я вынужден буду сообщить вашему уважаемому отцу, — начал профессор. — Однако, мне кажется, вам и самому должно быть стыдно за время, которое проходит для вас совершенно зря.

Молодому человеку было на самом деле стыдно, и он почти не поднимал глаз от стола профессора, на котором лежали сейчас большие, привыкшие к непрестанному труду тяжелые руки его.

— Одно из двух, — помолчав, продолжил профессор, — или хирургия, или отчисление. Я говорю об этом так прямо потому, что ценю ваши способности и, кроме того, считаю вас человеком серьезным...

Молодой человек выбрал, конечно же, хирургию, и тогда профессор коротко сказал, поднимаясь из-за стола:

— Пойдемте.

Он привел его в клинику и сказал санитаркам:

— К вам на стажировку.

Повернулся к нему и внушительно добавил:

— Их отзыв будет решающим для вас...

Не сразу понял Ираклий Давидович внутренний смысл этих слов. Врач должен знать свою специальность буквально от азов, в данном случае — от мокроты, от элементарного ухаживания за больным, от выноса горшков, тазиков, перебивки подушек. Надо, чтобы у врача исчезло ощущение чужестранности в палате больных, чтобы не было у него брезгливости при виде тяжелого, быть может, умирающего больного и, при обязательном соблюдении всех правил гигиены, чтобы он был близок, чтобы

постоянно общался с больным не только как врач, но и как товарищ. Моральный фактор — едва ли не одно из самых эффективных лекарств.

Отзыв санитарок был самым высоким, и после двух лет обучения в ординатуре, Розанов направил врача Топурия на восемь месяцев в клинический санаторий «Отдых», где главным хирургом была Татьяна Александровна Де-ла-Вос, спасаясь от фашистского режима генерала Франко и навсегда оставшаяся в Советском Союзе.

— Внимательно присматривайтесь к ее работе, — говорил Розанов, провожая ученика. — Если есть замечательные хирурги, если есть, что называется, лучшие хирурги, то эти эпитеты применимы к Татьяне Александровне. Но она еще и тончайший хирург, прошу вас запомнить это. Всю жизнь она посвятила хирургии легких, и счастлив тот, кто сумеет перенять остроту ее глаза и уверенность ее руки...

Розанов знал, кому говорит эти слова, потому что однажды присутствовал уже на самостоятельной операции врача Топурия и, очевидно, работа его ему понравилась. Сам Топурия вспоминает об этой операции с некоторой долей страха и до сих пор. «Ассистировали мне два доцента. Когда уже началась операция, вошел Розанов, и я внутренне похолодел. Краем глаза увидел, что руки у него не подготовлены к работе. Значит, прямого вмешательства или, в критический момент, помощи не будет. Надеяться надо на себя. Потом снова пришел испуг, что профессор начнет советовать сделать так или иначе — по-своему, словом. Будто почувствовав мои опасения, он вышел...»

Восемь месяцев под руководством Татьяны Александровны пролетели быстро, и в 1948 году Ираклий Давидович Топурия был направлен в Теберду для организации хирургической помощи вновь созданным санаториям. Дело в том, что во время войны санатории Теберды были заняты под госпитали, а после войны начали приобретать прежний свой облик. Госпитальное начальство, уходя, оставило некоторое количество

оборудования, в том числе и хирургического, вот на базе этого оборудования и предлагалось врачу Топурия организовать хирургическое отделение, которого до того на курорте Теберда не имелось.

Надо представить себе Теберду того времени. Асфальтированной дороги, как теперь, тогда не было и в помине. Для проезда в этот поселок годились лишь летние месяцы да часть осенне-весенних. А на четыре месяца он закрывался, добраться туда или выбраться оттуда можно было разве что на санях, да и то не всегда. Поселок был маленьким, квартир не хватало, и Топурия с семьей — женой Динарой Васильевной и сыном Датико — пришлось поселиться на какое-то время на квартире у монашек. Домик располагался неподалеку от реки, в солнечном, сухом месте, монашки были чистенькими, аккуратными женщинами, жить - с ними было спокойно. Но вернувшись как-то домой, Ираклий и Динара увидели, что монашки, по своему обыкновению, молятся, а рядом с ними стоит на коленях их пятилетний Датико и неумело осеняет себя крестом. Пришлось уходить.

Не все ладилось и на работе. Электричества постоянного не было, и добывали его от движков. В операционной, на случай, если движок заглохнет, был и аварийный свет — от аккумуляторов. Не хватало инструментов, квалифицированных помощников. И все же Топурия начал вести большую научную работу по исследованию влияния климата на послеоперационный период лечения, влияния высокогорья. Через несколько лет, — ибо туберкулез болезнь длительная, научные результаты видны не сразу, — можно было подвести первые итоги: курорт занял первое в РСФСР место по отсутствию смертности и осложнений после операций.

В 1953 году Ираклия Давидовича назначили главным врачом базового санатория и хирургом курорта, а в 1959-м — главным врачом всего курорта. Познакомились мы с ним года три спустя после этого, когда ему присвоили звание

заслуженного врача республики и за большие заслуги по борьбе с туберкулезом получил он орден «Знак почета».

К тому времени государство наше перешло в решительное наступление на туберкулез. Ни в чем не существовало слова «много», если речь шла об этой болезни. Если раньше пребывание в санатории было в какой-то мере платным, то с пятьдесят восьмого года оно стало совершенно бесплатным, причем больным полностью сохраняется их заработная плата на производстве, и в санатории они могут быть не месяц или два, как прежде, а столько, сколько нужно для полного излечения или, по крайней мере, до практического выздоровления. Сроки лечения назначают врачи санатория, руководствуясь исключительно состоянием больного. Немалая доля труда в постановке вопроса, таким образом, принадлежит и Топурия...

...Вероятно, я слегка переоценил свои силы, когда бодро заявил о готовности присутствовать на операции. Во вторник с утра я волновался так, словно это я должен сегодня взять в руки скальпель или, что еще хуже, будто это мне сегодня должны делать серьезную операцию. Утро было прекрасным, каким оно бывает лишь в горах. На юге сверкали вершины Главного хребта, синеватая дымка висела над лесами, и от этого они сами казались синеватыми, отдыхающие прогуливались по единственной улице поселка и вокруг озера Кара-Кель, где мальчишки били лягушек.

Шагая рядом с Мишей Лагодинским, я слушал его последние наставления по поводу того, как вести себя в операционной, и, конечно, ничего не запоминал, потому что воображение все время рисовало мне картины, имеющие лишь отдаленное отношение к тому, что мне предстояло увидеть. Дело в том — и это я понял немного позже совершенно отчетливо — что одна и та же операция для врача и стороннего наблюдателя, каковым был в то утро я, прямо противоположные события. Врач стремится к цели, то есть к пораженному

органу, чтобы избавить человека от страдания, и то, как он подходит к цели, для него лишь техническая сторона вопроса. Он понимает, не задумываясь над этим, что страдания больного в этот короткий период — относительно короткий, конечно — неопасная необходимость, и только. Стороннему наблюдателю, наоборот, именно эта необходимость кажется главной и часто закрывает от него суть операции, хотя бы она была гораздо страшнее и опаснее действий, так сказать, подготовительных...

Железная калитка, глухо скрипнув, пропустила нас на просторную аллею, обсаженную высокими деревьями. Сквозь ветви падало солнце на асфальт аллеи и на хорошо ухоженные газоны, полные цветов. Ночью прошел небольшой дождь, и асфальт, там, где лежали тени, был мокрым, и остро пахли влажные листья на нем. Вокруг сухого фонтана напротив главного входа в санаторий стояли выкрашенные скамейки, и отдыхающие сидели на них, расслабленные от солнца и воздуха. Цементные ступени простучали под нашими каблуками, широкое, полутемное после солнечного дня фойе пахло свеженатертым паркетом. Мы поднялись на третий этаж и, открыв двери хирургического отделения, почувствовали острый запах лекарств. Ираклий Давидович был здесь и готовился к операции: просматривал еще раз рентгеновские снимки, о чем-то тихо переговаривался с операционной сестрой, потом начал мыть руки — сначала просто водой с мылом, потом еще раз теплой водой с мылом и щеткой, тщательно обрабатывая ногти, потом еще и еще раз в каком-то составе. С нами он сдержанно поздоровался, сказал Михаилу: «Готовься...» Суеты я не заметил, каждый делал свое дело. На минуту заглянул Василий Цуркан, врач-анестезиолог, и тут же ушел в операционную, готовить аппаратуру. Мыться меня не заставили, но выдали стерильные шапочку и халат и такие же матерчатые сапоги с клеенчатыми подошвами. Все было кремового цвета, а я до той минуты

представлял себе стерильное чисто белым.

Комната, где шла вся эта подготовка, была залита солнцем, каскадное смешение тени и света. Из окна, если подойти к нему, виден двор и сухой фонтан, и скамейки вокруг него. Вдалеке переливались под солнцем снежные вершины гор.

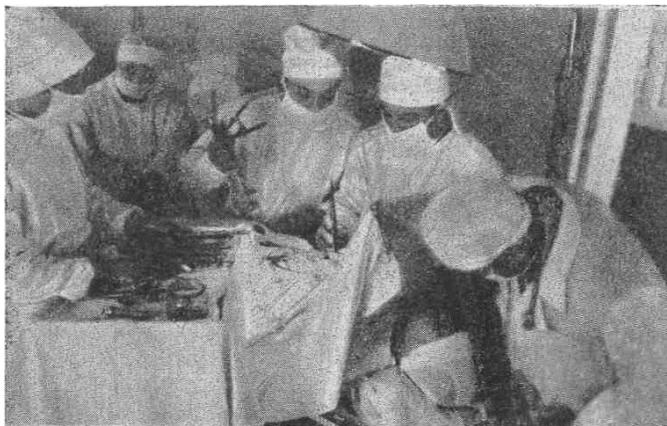
Подготовка к операции, как мне показалось, шла чрезмерно медленно и долго. Затем все гурьбой, операционная сестра впереди, пошли в операционную, которая располагалась на теневой стороне здания, чтобы игра тени и света не мешала глазам и чтобы можно было использовать бестеневую лампу. С первого взгляда было ясно, что техника теперь тут совсем не та, какой пользовался молодой врач Топурия на заре своей деятельности в Теберде. В простенке между окнами слева висела большая, полная достоинства табличка: «Коллектив отличного обслуживания».

— В самом деле? — спросил я Михаила, кивнув на табличку.

— Сейчас увидишь, — сказал он и подмигнул весело.

Ираклий Давидович, заметив, что мы разговариваем, и поняв о чем, тоже улыбнулся.

Вошла та, кого должны оперировать. Девушка лет восемнадцати, прекрасно сложенная, с цветущим, красивым лицом, на котором сияли огромные черные глаза. Милая полуулыбка блуждала по ее лицу, словно и



не ей собирались сейчас делать сложную и длительную операцию. Ираклий Давидович улыбнулся ей, поздоровался, спросил:

- Как самочувствие?
- Хорошо, — ответила девушка.
- Не боишься?

Девушка осмотрелась, увидела спокойные, доброжелательные лица сестер и врачей, оглядела стол, на который ей предстояло лечь, просторное помещение со светлыми окнами.

- Нет. Совсем не боюсь.
- Вот и прекрасно. Тогда начнем...

Легкое, четкое звяканье инструментов, тихие слова, коротко брошенные сестре, треск разрезаемой кожи, крупная алая капля крови, торопливо бегущая по желтоватому разрезу и приглушенный смех оперируемой девушки, которой все время было щекотно, — вот мои первые впечатления от работы Ираклия Давидовича. Потом в ход пошли инструменты более сложные и тяжелые, смех прекратился, сменившись легкими стонами, а я стал замечать мягкую белую обивку дверей, приземистость табуреток, матово-ровный цвет стен и колыханье вершины дерева за окном. Потом, в какой-то момент, я вдруг услышал свое имя и, повернув голову, увидел, что меня зовет Ираклий Давидович. Будто в пылающий

дом я шагнул к столу и тотчас увидел огромную рану, белую, очищенную кость ребра и бьющееся, старающееся вырваться вон, наружу, красное в прожилках вещество.

— Видишь пораженный участ-

ток? — спросил меня Ираклий Давидович.

И, еще не видя его, я сказал, что вижу.

— Да нет же, не туда смотришь, вон он, — с улыбкой проговорил Топурия, и улыбка его как-то странно успокоила меня, и тогда я сразу увидел то, на что он показывал. В глубине грудной клетки, освещенной специальной лампочкой, введенной внутрь, колыхалось легкое, и в верхней части его виднелось небольшое, величиной с пятак сизое пятно. Нет, скорее не сизое, а зеленоватое, мертвого оттенка. Сразу понятно было, что цвет этот аномален для организма, что он — словно беззвучный сигнал настороженного тела, объявление ему смертельной войны.

— Сейчас мы эту дольку удалим, и девушка будет совершенно здорова, — сказал Топурия.

Я снова отошел, чтобы не мешать, и услышал тихие короткие команды, потом какой-то резкий щелчок и через минуту слова:

— Зашивайте.

Одна сестра легким тампоном промакнула капельки пота на лбу Ираклия Давидовича, вторая таким же тампоном промакнула лицо девушки. Для обоих первый и самый сложный этап работы был закончен. Теперь, пока будут зашивать, девушка боли не почувствует, она придет к ней несколько позже, там, в

палате, когда кончится срок действия новокаина.

себе?..»

Но та боль уже мало опасна.

— Ну, что скажешь? — спросил Топурия, став рядом со мной и наблюдая за быстрыми действиями Миши Лагодинского.

— Курить хочется, — сказал он, не дождавшись ответа. Потом снова подошел к столу, но ничего не говорил, лишь понаблюдал немного и отошел. И тогда я вспомнил его рассказ о первой операции и о профессоре Розанове. В сущности, как много мы берем от своих учителей, даже не замечая этого!

В тот год я так и не написал очерка, который пишу сейчас. Причина кроется, как мне кажется, не во мне, а в характере работы хирургов, в противоположности наших с ними взглядов на эту работу. А может быть, причина и в другом. Быть может, она в контрасте великолепной жизни в той долине, где так много солнца и хвои, и воздуха, приводящего в волнение чувства и пожилых людей, не только молодых, и настороженной тишины операционной, куда спокойный, невысокий человек с глуховатым голосом, теперь уже не главный врач Тебердинского курорта, а начальник Северо-Кавказского курортного управления специальными санаториями, Иракий Давидович Топурия заходил около трех тысяч раз, чтобы спасти людей от все еще грозной болезни.

Позже я узнал, что девушка та вскоре после операции выписалась из санатория, уехала домой, в Майкоп, что ли, и там вышла замуж. Теперь у нее, наверное, дети, а она сама — счастливая мать, забывшая о недуге, постигшем ее в самом начале жизни. И я, неизвестно по какой ассоциации, все вспоминал Теберду, и Джамагатское ущелье, и отвесную рыжую скалу, высотой не менее чем в полтора метра, и как росли на той скале, ярусами, снизу доверху, неизвестно чем питаюсь и во имя чего так яростно и самозабвенно вытягиваясь к небу, к солнцу, перенимая его цвет, столетние сосны. Но — «что знаем мы о